



Андрей
Бычков

Олимп
иллюзий

Андрей Станиславович Бычков

Олимп иллюзий

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36065719

Олимп иллюзий : Алетея; СПб.; 2018

ISBN 978-5-907030-95-4

Аннотация

Если коротко, то речь в романе о герое и о его поисках другого героя, и об «идеальной возлюбленной», которая может их символически соединить, о ее ипостасях. С литературно-философской точки зрения – это роман, отсылающий к концепту Делеза о распадении классического образа на ансамбль отношений, в частности спора героев романа (адептов Пруста и Рембо) об оппозиции принципов реальности и воображения. Стилистически роман написан «с оглядкой» на открытия Джойса и на музыкальную манеру английской рок-группы “Emerson, Lake and Palmer”. С психоаналитической точки зрения это роман о фрагментации личности. С религиозной – о поисках свободы. С социально-нравственной – о сопротивлении современной реальности. Отрывки публиковались в НГ, «Литературной России», на сайтах Сетевой Словесности и Арт-Монстра.

В 2014 г. рукопись романа получила премию НГ «Нонконформизм».

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть 1 | 5 |
| Глава 1 | 5 |
| Глава 2 | 16 |
| Глава 3 | 24 |
| Глава 4 | 34 |
| Глава 5 | 38 |
| Глава 6 | 45 |
| Глава 7 | 47 |
| Глава 8 | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 61 |

Андрей Станиславович Бычков

Олимп иллюзий

© А. С. Бычков, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

*Светлой памяти Евгения Всеволодовича
Головина*

*«Нам обещано похоронить дерево добра и
зла, уничтожить тиранические добродетели, дабы
явилась наша совершенно чистая любовь...*

*Это началось тривиально и постыдно и вот:
это кончилось ангелами огня и льда».*

Артюр Рембо

Часть 1

От королевской боли

Глава 1

Светозарное

Круглый кругляш с ореховым замком открывался нелегко. Сначала надо было подсунуть, потом поджать, затем надавить и, наконец, поддеть. И, чтобы не слямзилось, просунуть, лучше два, даже три, а то и все четыре, и, конечно, держать замечательно, и тянуть, не давая захлопнуться. И всовывать, всовывать уже потолще.

П-пок!

А я же говорил, осторожнее, осторожнее. А то, как же закрывать потом будем? Ведь видно же теперь, что открывалось. Да может, и не закроется уже обратно.

Пиздец!

Ну ладно, ладно, хрен с ними, с божьими коровками, ничего теперь не поделаешь, давай дальше.

Лезь, говорю, просовывайся, да, так, так, миленький мой, кучерявенький мой. Ну, темно, да, темно. И холодновато, пожалуй, что. Да не дрожи ты так! Ну, пар, да, ну и что теперь поделать. Подумаешь, изо рта. Фонарик взял? Фонарики, го-

ворю, взяли?! Здесь же до нас никого не было. Осторожно, не наступи.

Что, когда, потому что там, где? А впереди клубится и клубится. Ну, страшно, да, пропадает луч, мельчайшие только висят и высвечиваются. Как мошकारа – лицемерные и сухие. Ссохшийся пар. Частички обвалившиеся дерна? Торчащие корешки, белые как червячки. Да-а, дела... Слышишь меня? Ага, что-то капает там. Подземелье же. Не хватало еще ебнуться. Стикс, похоже, подступает. Ты, что, Лета – река, запомни. Я знаю, я и говорю, что ад. Да, блять, что ад. Мы в аду, сука. Осторожнее, я же говорил, не наступи. Да тише ты, вон, смотри. Кто? Сам... Неужели? Ложись! И лежи... Тс-сс-с, тихо, а то заметит, и тогда все... Что все?... Не вернемся обратно...

Зеленоглазое стало им выползать и стало светить их мощно из трубы. Было это оно. Я знаю, рев его уже гадал уши мои, тихо было, тихо, только шуршало оно и подползало. Шуршало и подползало.

– Дон Хренаро, проснись!

– Что такое, дон Мудон?

– Мне приснилось что-то ужасное!

– Что? Что? Говори скорее!

– Хренаро, мне приснился ад... Что мы в аду.

– Что ты такое говоришь, дон Мудон, какой, на хуй, ад?

– Ой, как мне хуево, Хренаро...

– Дон Мудон, возьми себя в руки, ты же мужчина!

– Дон Хренаро, я не могу, у меня кружится голова.

– Чепуха, это сейчас пройдет.

– Нет, нет, Хренаро, мне надо на воздух.

Ночь, вбитая в асфальт Луна, расчekanенная на стеклах, жесьть гремящая, спать, спать, мы поедем с открытыми глазами дорогой душистой ели и пихты, Хренаро, осторожнее, не поскользнись, какая светлая темнота, как режет глаза Бычьей звездой, хоть выколи глаз, ниже, ниже, смотри, пролетело оно, что пролетело, дон Мудон? Солнце пролетело, Солнце, дон Хренаро, мимо Лупы, мимо тьмы, углем мнимо обдав нас, и опять расчekanилось, только теперь-то не на стеклах, а на брусчатке, только теперь-то на столбах, о, сколько же здесь распятых, еб твою! сколько же здесь повешенных и висящих на гильотинах! и как они нас ждут, как они нас давно ждут не дождутся, это же надо, Хренаро, да, дон Мудон, как красиво, я лижу, какой чистый красивый воздух морозный, розовый, дон Мудон, языком, вот это ад! дон Хренаро, а ты говоришь, прости меня, значит, и ты тоже? да?! и ты тоже?!

да, да, смотри, вон оно, там, выползает над улицами, зеленоглазое! и Светозарный, Сам, Сам поднимается между домов! осторожно, дон Мудон, чтобы не скovyрнулись дома, чтобы не обрушилось на молодоженов, не наклоняйте вбок распятых и повешенных и висящих на гильотинах не отклоняйте, что ожидают вокзала своего, ибо уже подходит и подходит, и... паром траурных обдает.

– Дон Мудон!

– Тс-сс... Тихо... Сейчас... Сейчас все начнется.

Медное утро с оцинкованной кружкой, овеществленное, ударило в таз и разбудило их. И они проснулись и протерли глаза свои кулачками, как мальчишки, как два средних мальчишка. И умылись и вытерлись полотенцами. Солнце сияло в медном тазу и горел синий газ с оранжевыми язычками, и тужился, и свистел чайник. Тысячелетний город был слишком быстр, а они еще не попили и не поели. Как жить им в остатке, может быть, и не знали. Но знали и съели, наконец, за завтраком и разгладили сомнения свои. И уже как два Гамлета выходили на улицу, выходили в глубоко начищенных сапожках черных и садились на два коня. И ехали уже на двух мотоциклах, как два флага, развеваясь между собой, с Дантом да как с Вергилием.

Посторонись по сторонам! Прижмись к стенкам сосуда, урод, дай дроздам! Это дон Хренаро и дон Мудон, два русских парня мчатся в ад! Навстречу Солнцу своему едут дон Мудон и дон Хренаро. Оно ждет, ждет их не дождется в кузнице своей. Оно бьет, бьет, не разобьется яйцо свое золотое. Блеск кувалды яйца своего золотого наяривает. Давай, давай, Солнце, наяривай яйцо свое, Солнце! Соленое, сладенькое, жиденькое, Солнышко, шалтай-болтай твой на веревочке мчится, на желтенькой, на сурде... О сурда, сурда моя, сурда, ух-ха! Пол ух-ха!

– Хорошо едем, дон Мудон.

– Славненько едем, дон Хренаро.

– Далеко ли до столицы гвоздей?

– Недалеко.

– Как там повешенные, не гнутся?

– Висят, миленькие, подрагивают.

– Распятые?

– На сухожилиях кричат тихонько.

– А на гильотинках не порезались еще?

– Кишат.

– Виснут?

– Киснут!

– Ничего, ничего, дон Хренаро, пусть потерпят маленько еще, пусть помучаются всего ничегошеньки, всего-то чуть-чуть, на пол дыры.

– Га-а!

И – ж-жих – синие выхлопы пронеслись, как в эполетах. Это едут, едут, закусывают дон Хренаро и дон Мудон, в лососинах белых лосинных и черных сапогах с икры закаченных и засекреченных. С несдуваемыми фуражками на головах. Те фуражки секретные пристегнуты ремнями под подбородками от ветра и околыши их буйно блестят.

– Алло, дон Хренаро?

– Хр-рр-р...

– Ты спишь что ли?! Это я, дон Мудон!

– М-мм... кто это?

– Это я, дон Мудон! Просыпайся, давай!

– А-аа, это ты, дон Мудон... А хде это мы?

- Хде, хде, в аду, где.
- В саду?
- Открывай манту!
- Манду?
- Да не реакцию, а акацию!

Была то темная большая и глубокая тюрьма, влажная холодная, с закрытым плотно люком из-под плова, с травой, с бараниной, с корнями, с облаками, растущим вниз головой деревом мандрагора, желающего жевать, мда-с, желающего жевать.

Минерал есть высшее, человек, вообще говоря, хаос, как говорил Новалис. Вот и был это, говорю я вам, ад. И виражи его сужались и сужались на треках. Ажурные развязки, многомиллионные с тончайшими нитями. Ехали по ним вывернутыми наизнанку внутреннего мира своего. Отчуждениями были отчуждены глаза от зрения и от сетчатки, уши от слуха отчуждены были и от услышанных слов, осязание от кожи касаний отторгнуто чешуйками, обоняние – от носовых ноздрей и запахов привходящих. Мозг, однако, выделялся и выделялся, не то, чтобы вскипал, но джунгли мозга уже висли на проводах, да и на безмодемных, уже обвивали лианами и мыслили себя мыслями без смысла и анализ, как уай-фай, один плюс один вычитал, что будет, конечно же, два. И только повешенные маялись на столбах еще, как под ветром. Зюйд-вест дул тогда, и туда-сюда раскачивались повешенные и ждали. И распятые на гильотинных топорах тоже

блестели.

Светозарное и Зеленоглазое запивало соком, готовилось выползать. Оно должно было выползать и ползти навстречу, выползая долго и дико через кусты дрока, обдираясь и пугая должно было оно выползать. Должно было ползти оно с нижней выпученной губой, ибо на губе той была у него болячка, и все хотело прижечь Светозарное, зеленкой прижечь, и забывало, но и рано или поздно прижгло себе, и была уже корочка черненькая, чесалась, что не содрать, не содрать, вокруг рассасывалось и бледно-зеленое, и уже проглядывало нежно-розовое губное.

Многим, в то знаменательное утро выворачивало, кому-то сеяли, кому-то наддавали, кого-то накрывали. Другие, однако, бежали на месте, сопротивлялись, и тогда их поддувало подземное, и расширялись тогда голыми и беззащитными они, и все еще человеческие в душе. Ибо хотели оставаться людьми, а не знали, как и зачем, и почему так бессмысленно, и никуда, никуда не деться. Там, обратно, был мох на люке и дерн с белыми червячками отсохших корней, и уже протиснуться назад было невозможно, разве что с электронными на букридерах, а это было лишь иллюзией метрополитеной, что ты едешь обратно, тогда как ты едешь только вперед, в одну неумолимую сторону, и надежда только, что эти два ангела ебанных, дон Хренаро и дон Мудон, что они спасут тебя и будут хранить тебя и хоронить тебя от раскалывающего и раздирающего, от бессмысленного и тупого. А те,

кто покупали и мылись голыми и демонстрировали на веб-камерах обнаженные органы свои, будут удручены. Король зла пришлет им смс и будут сами запущены, как уиндоузы на файерфоксах. Так что скоро-скоро им взлетать вниз, взвизгивать вниз, нечестивым. А повешенные и распятые и висящие на гильотинах будут, конечно, скоро будут спасены. Вот только флагами кровавыми доедут до них дон Хренаро и дон Мудон, два ангела ебанных, и зашипит тогда на сковородах, и еще только чуть-чуть помучаются повешенные и распятые, покорчатся на сковородах и выйдут точить вилы костяные свои и с резными топорами выплывут, наконец, на пирогах цветочных.

И поехали неизбежностью зла, призванного на праздник, убийством нетленным, как происки по ту сторону поехали они, как возвращение к ослу времени, как дышать, да, дышать, как Солнце Луной.

– Ты готов, дон Мудон?

– Я готов, дон Хренаро.

– Казнил попа *своего*?

– Казнил, казнил.

– Ледяной, о, айсберг блистающий, слепи нас теперь, слепи.

– Начинается...

И вот стал тогда ознобом входить, входить сквозной. В ноги входить, входить сквозной. В поясницу входить, входить

сквозной. И хотел остановиться было, чтобы замереть. И в лоб стал входить. Оморозить лоб хотел сквозной. Посмотри же, посмотри, как лавы льда низвергаются неподвижно, как ослиное время блестит, и как разгибается пространство, как ледяная паяльная лампа сквозная хочет на волю.

И тогда дон Хренаро и дон Мудон захотели, наконец, родиться, как нерожденные, и, как после смерти своей не умирают, ибо то был уже ад, и заволакивало его вершины, в буран поднимался вершинами своими ад и бровями своими поднимался выше бурана сын зари, дух восстания и отец гордыни, и уже разгоралось черное пламя разума и воли, ибо костяк армии еще бился и отбивался на закат рассвета, и в водоворотах светил открывалось, наконец-то, где же, где творится заветное, где резвится по-прежнему произвол невинный, где когда-то Достоевский молодой восставали с Толстым молодым, где отрывали на губных гармошках пердунам, где рвали ходы засохшие старперам, где мешали свет и тьму в носовых бессмысленных кварках пения ножного... Там, где Достоевский молодой с Толстым молодым восставали чистые и обнаженные по пояс.

Ибо ты давно уже не понимаешь, что происходит с тобой. Тебе кажется, что все еще впереди, а все уже позади. Ты ищешь смысла, и не находишь. Ты думаешь о свободе, а остаются только рельсы кривые и ржавые. Ибо сие и есть ад.

И нет дороги обратно. Так поняли и дон Хренаро и дон Мудон однажды на пони, маленьких таких конях, когда еще были ионными людьми. Но с тех пор, как развысились на трубных, с тех пор, как разыгрались на кругляшах и попрыгали в ниппельные бон-бон, не осталось смыслов. И нет теперь, где спрятаться человеку. И тогда дон Хренаро и дон Мудон догадались. Ибо они подъехали, когда стало уже невмоготу. А сын-то зари ждал давно. Ад был давно бодр и плоды его были давно бодрые. Ибо в хрустальном доме – головой вниз – бодрость доброго зла нашего и знойной нашей работы. Кто знает все и про всех? Про каждого из людей? Про тебя? Как бессмысленно ждешь ты подчас и-мейлов, как ждешь комментариев на пост свой, и как, не дождавшись, срываешься на фейсбук. Где всадник без головы, что спасет тебя, где Майн Вир твой? Знай же, что цели нет, жизнь бессмысленна, родители твои рано или поздно умрут, и деньги будут растрочены нелепо, даже путешествие и то не спасет тебя, потому как все равно ты возвратишься обратно. Знай же, что подняться можно только по болтам, и те болты с гайками вкручивают дон Мудон и дон Хренаро, ибо они идут вперед, дон Мудон и дон Хренаро, они знают неизвестное вперед, а назад лишь рак свистит смысл свой известный. И не какой-нибудь, а рак в смысле твоей болезни! Знай же, растягивается неумолимо и бьет обратно по лицу кантианская резинка. Ибо один ты рождаешься и один умираешь – во вторник, в четверг, в понедельник...

И тогда загорелась Бычья и стала разгораться. А дон Мудон с доном Хренаро на спинах лежали своих и смотрели в окно, как «Наутилус» всплывает капитана Немо, ничего не говорил Немо, не доставал из кармана, не вытирал пыль, не кашлял, не чихал, лишь молча всплывал он через окно длинное, все ближе и ближе подплывал. Дай Бычьей было над ним и лед духа восстания и отца гордыни. Ибо по лучам их узнаешь их, не возвращайся, прошу тебя, не возвращайся.

Глава 2

Два романа

С багрово-помятым лицом, попукивая, встал он с кровати, почесывая яйцо, и проснулся, сел, надавливая, сизое, не обращать внимания, ну с днем рождения, Роман!

Он посмотрел в трюмо. Рюмка на похмелье троилась, и трещала голова.

– Бр-рр-рр...

Проглотил.

Как надрались, однако, в самолете над воздухом с директором авиаарейсов, но, слава богу, что снова эта дурацкая Москва.

– Машка!

Сука, спит в отдельной комнате, и на хуя было строить дворец? Видите ли, большой у меня живот, видите ли, наваливаюсь. А раньше не наваливался? Сизое с красными прожилками выбеливалось, выжималось из-под ляжки яйцо, и была эрекция, была.

– Машка!

В папилютках просунулась красивенькая головка жены, и выражение было на лице ее как китайская живопись поверх фарфора. Будет опять лежать, как кукла, с открытыми глазами, а все равно, блять, лучше, чем...

– С днем рождения, Роман!

– А где щенятки?

– Гришенька в садике, а Сашенька в школе.

– Мерзавцы.

– Рассолу еще?

– Какой, на хуй, рассолу. Давай-ка сюда!

И рыгнул, в смысле икнул.

– Роман, ты невыносим.

– Не бойсь, я сзади.

Загоготал и сморщился на молнию в виске.

– Дай еще рюмку.

– Налить?

При виде рыхлого тела жены из-под халата, синеватая ляжка, он слегка опечалился – странное, прустинское, в смысле прустовское, чувство – но авиалайнер любви уже поднимался. Тело хотело всем телом, а тонкая боль была в голове. Да на хуй голову! Он запил коньяком и разжевал анальгин. Подождать или сразу? Жена уже раздевалась, скидывала халат и ложилась покорно, как перевернутая акриловая ванна. Значит, сзади. А могла бы в честь дня рождения и пропустить мимо ушей. О, студия! Он почему-то представил рычаг, как рычаг переворачивает мир. Где, сука, блять, Архимед? И навалился ей на поясницу. Как два бизона стали дышать и карабкаться, пока не пристроилось, пока не наладилось, пока не разгладилось и не пропустило. И что-то было в том, что в папилютках, хм! Даже потрогал ей пальцем как некую необычность. А тело на теле уже громоздилось и

скользили в наслаждениях жиры. Что-то терпело, мучилось и, подрагивая, страдало. Скрипел диван, выезжал, и дрожало, как поезд, трюмо. Анальгин голову отпустил, и голова с коньяком уже погружалась по уши в грудную клетку, уходила ниже, в живот, вспучивалась и пролезала овалом в колбаску. И мощно вдвигался и выдвигался мясной красноватый насос, накачивая и накачивая под напор, да, под напор, под пузырящуюся икру, пока, о, господи, пока, о Боже, пока, у, е-ее... ну еще, еще-е... блин, еще-е-ее, и...

Йуу-у-у-ух!..

Накатило и взорвалось. И громадный рушился уже со всеми авиалайнерами, с солнцами и с быками, обваливался на Машеньку, и дрожал...

А вот уже и сидел бодрый за завтраком, с накрахмаленным белым фартуком свежим и уплетал сардельку любимую сочную, треснувшую из-под натянутой оболочки, праздную день рождения себя – в силе, мощи и славе. Звонила и поздравляла мамочка. Подносила борщи жена. И запивал сметаной борщи он, и пела душа, на губе приклеилась макаронина, блестела органной трубой и вибрировала, свисая, – ту-ру-ру-рам! – Баха вашего за шею прижимать педалью ноги. Роман родился сегодня и снова, Роман – ту-ру-ру-рам! – фортиссимо задрожала сарделька, сегодня придут поздравляющие и принесут свои выи, и Роман будет царить и блистать своими богатствами, славами, и покажет дворец им, громадный четырехэтажный дворец, покатает на лифтах, погуля-

ет поздравляющих по зимним садам, и позагорает их, держа за ошейники, под ультрафиолетом стремительно искусственных солнц...

– Как нам повезло!

– Ромочка, кушай.

– Я говорю, как нам повезло, Машенька!

– Наливать?

– Чистенькую!

– С этим?

– Да не с этим! А где с красным перцем, чтобы стоял!

– Ромочка, надо же мне успеть убратся и приготовиться.

– Успеешь.

– А замотанную синюю кто будет убирать? Китайнку кто будет в магазин отправлять?

– Успеется.

– Да что тебе, мало было? Еще полы на четырех этажах.

– Китайка успеет.

– Назвал имейлами. Ты же хотел дворец показать... Я и Романа пригласила.

Роман с вилокй застыл, но вилка продолжала сардельку нести. И сарделька продолжала нестись в пространстве пяти, шести или даже семи искусственных солнц.

– Романа?

– Вчера отправила смс.

Жена огромная попыталась съежиться, попыталась застыть, но балетная пачка треснула. И театр засквозил – они

роли знали насквозь.

– Зачем?

Механические часы вышли на стрелках, как на костылях, и стали вытанцовывать время прошедшее, которое будто бы было, и которого будто бы не было.

– Ты сказал сам.

– Когда?

– Сейчас.

– Ах, да...

Он вспомнил, вилка описала полукруг и вонзилась в сардельку, на фартук брызнуло, на фартук и на скрижали. Роман вынул жало и вколол еще, под углом, так, что теперь брызнуло и на балетные пачки.

– Ромочка!

– Ты забыла снять кожуру.

Он подцепил мокрую пластиковую обертку и снял, оголяя разорванное тело сардельки.

– Ты не рад?

– Нет, почему же.

Чего Роман не мог простить Роману? Что когда-то они писали на зеркале стихи?

– Я отправила, потому что тогда не отправила, а потом ты уже лег.

Корова к папильотках, хитрое фарфоровое душло, батман тебе на задницу, танцуют не только слоны, но и Карлы Густавы Юнги, мифотворцы херовы, да, я люблю тебя, Роман,

как свое несбывшееся, Университет в белом, Университет в черном, я был с тобой молодым изгнанником бузины и ранних астрелей, птиц и пастбищ, выпущенных из лука стрелы, асфodelей на ранней заре водопоя с синих ресниц козодоев, висящих, как ртуть, с глазами печальным, мудрыми... Роман, прочь! Роман, приди! Как раньше, когда мы писали на зеркале стихи, отражаясь до бесконечности сами в себе... Я знал, что деньги – это дерьмо. Так возвращают кредиты, так снова возвращаются во дворцы. И дворцы гудят и вращаются, как чертовы колеса. Я поднимался на крест богатства, а ты видишь только мой толстый живот и жиры мои прустиянские. Не ври! Роман по-прежнему тонок, и он сохранил тончайшее, и вечером он исполнит, как учил пальцами мясными на земляничных полянах, черно-белыми элегантными флагами на клавиатурах раскинутых, ритм, да, вы, господа, еще не знаете Романа! И ты, Роман, зря меня похоронил, у вас, господа, флирт в душе с предрассудками, стереотип иллюзий, нет, Роман в жире еще зазвучит, сонатой Вентейля зазвучит Роман, ну, хорошо, пусть не Вентейля, но кофе глisse я вам исполню, тем более, если приедет Роман, по полям смыслов с маслом приедет к Роману Роман...

Он окунул в сольдо сладкий огурец и заел, голова разъезжалась, выпитое накануне гудело и подлетало к Шереметьево-Два.

– Надо поспать мне еще.

– Китайка вымоет.

– Возьми сумму из пиджака, из нагрудного. Там что-то шесть или семь...

– Поспи, Ромочка, поспи.

– ... тысяч долларов.

Вечер уже длил воспоминаниями и Беатриче маленькая уходила за горизонт, как она тоненькая, с попкой тоненькой мыла пол, как наклонялась и тряпочкой терла, и китайские ее ляжечки тонкие, на которой, на молодой, тонким всадником можно скакать под тонким месяцем и тонкой китайской Луной... Роман засыпал, Роман проваливался в Романа. И китаянка мыла, оттирала и зачищала на потолке, над этажом, где ранним утром Роман еще наваливался на жену, а сейчас вдруг запело трюмо, и голая китайская девочка затанцевала на пуантах, и были неразвиты еще ее девичьи груди, и ранней весной сосать было-было поцелуями длинными ее узкие китайские соски, горьковаты были соски, и уже в коробочке оделяло, одаривало сладостями овечье, горячее, бритое и блеющее от счастья, вот так, да, вот так, ме-ее-е, тихо, тихо, по-дожди, я сейчас, я быстренько, ме-е-е, Роман просыпался и засыпал... И мыла китаянка молоденькая мыло, голенькая мыла мыло она, и мало было мыла, и потому мыла мула, мол мула мыла больше всего...

– Так что, вы хотите сказать, что вы и есть Роман?

– Нет, я не в том смысле, что...

– А где вы были вчера в одиннадцать вечера?

– М-мм... был на Тверской.

– А смс получали?

– Смс... м-мм... получал.

– От кого?

– Я... я не знаю.

– Это ложь.

– Нет, нет, честно.

– Честно? Вы получили смс от своего старого друга.

– Правда?

– Он пригласил вас на день рождения.

– Но... я ничего не получал... А вы кто?

– Ах, ты не узнал?! Мы же дон Мудон и дон Хренаро, ёб твою мать!

Глава 3

Лунный свет

Мотоцикл, однако, уже тарахтел, мотоцикл, однако, уже заезжал, шлагбаум приподнимался и пропускал, а ведь Роман ехать не хотел, вчера он еще не хотел ехать и думал, что не поедет, что это капкан, что если он поедет, то опять попадется, что он ничего не сможет им возразить, не сможет в них отразиться, и ничего не сможет им доказать, ведь не рассказывать же, что вчера разбил зеркало в прихожей, чтобы вызвать, что вызвать? да, конечно, плохой знак, если не можешь покончить с собой сам, то хотя бы... тогда зачем же ты снова приехал, а я никуда и не приезжал, вот эти три коттеджа, а теперь поворот налево, пруд, где тонул старый друг Док, названный Романом про себя Романом, именем собственным, и почему-то не утонул, ах, да, друг спасал собаку, полз по тонкому льду к полынье, где плавала собака, и провалился, в телогрейке, в прошлом году, друг весил килограммов сто пятьдесят, да нет, не сто пятьдесят, а девяносто, не меньше девяносто пяти, это без телогрейки, а с телогрейкой, да, он успел ее скинуть в воде, мокрую, тяжелую, набухающую, да не собаку, а телогрейку, а сам держался пальцами за обледенелое и дышал, но он все же смог закинуть собаку, забросить собаку на лед, а сам дышал, Док спас собаке жизнь, богатый, а все равно спас жизнь собаке, владелец студии, а ты никто,

Роман, просто отражающийся сам в себе и в своих друзьях, просто мудака и ничтожество, а он тебя любит, твой друг тебя любит и приглашает на дни рождения каждый год, а ты каждый раз почему-то думаешь про капкан, что ты попадаешься в капкан, что будешь защелкнут железной скобой, что будешь дергаться, вырываться и затихнешь, и что он, твой старый друг, будет тогда сосать, будет тогда высасывать, из тебя, Роман, сосать и высасывать, и когда насосется, высосет все до ложечки, и еще когда его жена, да, его жена, ведь он спас собаку, а ты, Роман, кого ты спас? а, ну да, самого себя, вчера, когда разбил зеркало, теперь поворот направо, боже, как много таможенников, они, что, здесь живут? в этих многоэтажных коттеджах? а вот, кажется, и он сам, в конце улицы, какой большой, обещал встретить, вот и встретил, вышел навстречу, чтобы Роман не заблудился, не развернулся и не уехал обратно за шлагбаум...

– Привет, Док!

– Привет, Роман!

– С днем рождения, дорогой.

– И тебя также.

– Меня-то за что?

– С моим, с моим.

– А, ну да, шутка юмора.

Роман снял шлем, и вот уже обнялись, поцеловались и прошли за загородку железную, за калитку железную, и Док защелкнул скобу, лязгнуло и, позвякивая толстой цепью из-

за угла в перевалку вышла собака, значит, реальность все-таки есть, с черной мягкой отвисшей губой, и укоризны были исполнены ее умные коричневые глаза – как ты мог?! как же тебе не стыдно?! у тебя же ни капельки никакой совести... – цепь натянулась, погрустнели глаза, и собака была остановлена ошейника шипами.

– Большое животное.

– Ага.

– И как это ты его?

– Что?

– Ну, тогда.

– А, да, это была та еще история.

– Никогда не забуду, как ты рассказывал.

– Ну, Роман, проходи, проходи, раздевайся, дорогой.

– Спасибо, дорогой... Доктор.

И Док просто пропустил его, маленького и изящного, как звереныша, в дверь и захлопнул, и завернул до упора скобу, Док тяжело дышал, разглядывая старого друга Романа, насколько тот изменился за год, не ссохся ли, в смысле болезни, то есть, нет ли у него чего-нибудь такого тайного неизлечимого, типа рака?

– Ты что-то плохо выглядишь, дружок, – побряхтел Док, доставая с верхней полки огромные тапочки и подавая Роману. – Какой-то изможденный, усталый. Ты, вообще-то, спишь?

– Постоянно.

– А, ну да, осторожнее, не утони.

Док внимательно, как врач, рассматривал, как Роман снимает ботинки, как вставляется в тапочки маленькими ступнями, как в какие-то огромные нандовые ангары, и уже скользит по паркету, как маленький лыжник, мимо громадного зеркала целиком, видный весь, как будто бы голый, хотя и не голый, но все же можно потрогать, поджать...

– Ну, проходи, проходи, проскальзывай.

В гостиной уже собрались и, видно, давно уже поджидали. Гости сидели прямо, не касаясь спинами спинок, некоторые теребили, хотя и не ели, не нанизывали, а ждали, конечно, меня, что я ничего не достиг, никем не стал, не зарабатываю почти ничего и ничего почти не имею. Кстати, и за границу не выезжал, женился, но неудачно, развелся, дачи нет, и детей, а, следовательно, не будет внуков и правнуков...

– Ну как грибочки?! – закричал истерически Роман и, выпадая из тапочек, полез целоваться с бабами.

– Ура, наш мотоциклист!

Старые подружки старых дружков, чмок-чмок, толстяшки, ну вы и растолстели, а я, да, по-прежнему, маленький... Зато стоит-с!

– Развелся?

Возвратить, вернуть его, бедняжку, снова в зеркало, собрать из осколков и любоваться им. О, как это славно, когда кто-то страдает, что кому-то так мучительно больно, так, так, еще чуть-чуть, потерпи, дай нам вдохнуть, поды-

шать, какие прекрасные муки, какая прекрасная медленная смерть, какая замечательная агония, о, как он дергается, как хрипит, как вылезают глаза из орбит, и какие у него чистые белые белки, посмотрите! И, конечно, эрекция, о, вот это называется стоит! Да-да, у всех задушенных эрекция, это, знаете ли, и есть жажда жизни, они, задушенные, понимаете ли, рвутся обратно к жизни, а уже все, нельзя-с обратно, вот так-то, а хочется из петли, вот в чем трагедия, вот в чем красота, что обратно-то уже нельзя-с! И эти печальные глаза с пересудой, что когда-то все же и я была влюблена, что и я была влюблена в Романа, на первом курсе – как Машка, Сашка, Глашка, Наташка... Но он так и не... а может быть, и... разок или два... так было ли?., увы, так и... Какие многозначительные точки под носом у некоторых, как будто бы утром там еще прорастали усы. Брр-р...

– А нас? – грозно зарычали самцы, крепкие мускулистые дружки с фирмами, вовремя побросавшие свои аспирантуры.

– Ах, вы мои колбаски, и вас!

Роман стал чмокать, уворачиваясь, мужские лица. Так иногда целуют коней. Не задеть бы глянцевого, не разлить, не опрокинуть, не разбить копытце.

– Осторожнее.

– Док, а где тапочки? Ты дал ему тапочки?

Отцеловав старых дружков и их подружек (с последними, впрочем, еще можно было бы где-нибудь в темных комнатах,

при приглушенном торшерном свете...), Роман расстегнул куртку, обнажая на мгновение недоглаженное, и сел, как за рояль, прислонившись к.

– Итак, все в сборе, – крикнул Док, крепко растирая кулаки, складывая и раскладывая суставы, так, что даже забелели, засинели костяшки. – Я сыграю вам, как и обещал, Дебюсси. Эта старая соната называется «Лунный свет».

И он мощно сел за небольшое плоское диджитальное пианино, возвышающееся на тонких подставках, как на тонких и элегантных козлах.

Козлы были неким приспособлением для выше земли (неправильно), выше уровня, с которого нельзя достать, с которого трудно (правильно) подавать все выше и выше, туда, наверх, куда, и козлы, между прочим, можно надстраивать. Можно наращивать, поднимать и стремить, чтобы они – о, Main Got, – уже будут вырастать (неправильно), выстраиваться в леса, были козлы, а стали леса, целые леса козлов, так незаметно рассказывал Дебюсси, строил понемногу из черных и белых клавиш свой музыкальный свет, стремил его крылья наоборот к Луне, как к своему источнику (а не к зеркалу, как думают некоторые), ибо так строят башню, так все мы строим башню, ибо все мы обречены, диджитал, о, эти несчастные коды, у кого сколько и сколько у кого; башня поднималась к Луне, прозрачная тонкая, черно-белая, из эфирных черно-белых клавиш, как будто через эфир, как будто давний, шаболовский еще, голубой глаз стремил передачу,

послушай, это было в старые времена, когда мы еще и в самом деле были молоды и когда у нас было будущее, полное неизвестности, о чем знал только ветер, и когда почки еще только набухали, и листья малые, как дети, не знали, как им расти; но почему же все, что вырастает, вырастает в работу, дачу, машину и за границу? путем повторений, а мы тогда в первый раз... Дебюсси выпускал тончайшее, обволакивал, как паук, и сосал блаженно, высасывал, наливался, густел, через эфир просвечивало уже красненькое. Застыл и Роман, мучительное сладкое высасывание высасывало его изнутри, что уже не было у него ни почек, ни печени, ни поджелудочной, что уже высасывало мозг, да, блять (неправильно, правильно – блядь), мозг...

– Дон Хренаро, ты спишь?

– Нет, тихо, тсс-с... Сейчас все начнется.

– Нет, нет, Хренаро, тебя давно нет, и меня давно нет.

Чему же тогда начинаться?

– Подожди, это все только так кажется.

– Как будто снится?

– Это, типа, все рябь. Как лунный свет.

– Типа, было и пройдет?

– Ну, да. Это как бег.

– Хренаро, а что же тогда остается?

– Ну, если честно, то ни хера не остается. Но ты молчи, ты слушай, сейчас все еще только начинается.

– И будет сосать?

– Уже сосет.

– О, как хорошо, Хренаро, как славненько...

Славный двухколесный «ямаха» уже отъезжал, и Док с собакой вышел провожать, поворот налево, поворот направо, пруд со льдом, Роман плевался, льда не было, что-то стояло у него в горле неразжеванным, что он никак не мог проглотить, ах, ну да, это было воспоминание, и оно карябало гортань, и там, где была гортань, теперь торчало воспоминание, засунутое умелой рукой, и никаких тебе, понимаешь, Дебюсси, козлы, перерастающие в леса – строительные, зеленеющие – слово-то будто одно и то же, но леса и *леса* – это совсем разные, вообще говоря, вещи, а вместо деревьев уже заложены с полами этажи и с потолками тоже, со стенами, Роман крепко сжимал руль и переключал ногой передачи, чтобы повернуть налево или направо, где, блять, шлагбаум?! а ведь было святое, на день рождения собрались иконоста-сом старые друзья и... нет, нет, не на Луну, а может быть, и на Луну, Док рассказывал и молодец, в воспоминаниях всегда молодеешь, Док вспоминал про Ангару, как они поехали на Ангару, как они полетели на трех самолетах на Ангару, как плыли на теплоходике ВТ, а при чем здесь лунный, то есть говоришь волны и частицы? крепкие такие орешки, так вот, на ВТ, а это был теплоход, они опаздали (ошибка, надо о), и тогда с ними был еще дон Хренаро, да, тогда еще был дон Хренаро, он еще не пропал в неизвестности, да ты что, нет, важно говорил Док, как будто он знал наверняка,

что дон Хренаро покончил с собой и с тобой, что он просто прыгнул с небоскреба где-то в Шанхае, а, может быть, и как-то еще...

Ложь! Вот чего не мог Доку простить Роман, и он крепче сжал руль, он стал выбираться из потока коттеджей, обгоняющих его обратно; где пруд? ведь я только что проезжал пруд, нет, дон Хренаро не мог покончить с собой, он просто решил исчезнуть, раствориться среди китайцев, потому что они не могли покорить Ермака, переплыв на пирогах эту гребаную Ангару и по-пластунски пробраться до Урала, да, продолжал рассказывать сам себе Роман, и все слушали, как на цыпочках, как когда на цыпочках выходят уши, и слушают, прижимаясь к замочным скважинам, что там еще что-то стучит, что-то бьется, там давно, на Ангаре, рассказывал Док, как ВТ отходил и они догоняли этот теплоходик на моторной лодке, как в старых американских фильмах, и с первого раза удалось только забросить вещи и относило, крутая была волна на Хуанпу и течение быстрое – не ври, дон Хренаро не покончил с собой, он любил жизнь, он знал, что в каждом человеке сходится земля и небо – и тогда зашли на второй вираж и я прыгнул, и уцепился и висел, и его – меня – вытянули матросы, и это было на самом деле, а не какая-то там потусторонняя херня, а дон Хренаро не успел, лодку уже относило, и он прыгал снова на третьем вираже – в высоту, Хренаро любил высоту – у каждого человека есть своя родина, где все, что он делает невинно, как говорил Музиль,

а тело мое огромное, и зовут меня Док, да, Док, и у меня все есть, да, и студия, и сайты, и фейсбук, и эфир, и лунный свет, и Машка, и китаянка, ну хорошо, ладно, китаянки нет, но зато есть иконостас и доллары, что я не просто работа, что я потратил свою жизнь на результат, нет, у меня была Ангара, и зря ты разбил зеркало и перемешал, и еще... да, это, конечно, печально, но факт, дон Хренаро действительно разбился на мотоцикле, а ты, Роман, ты просто слишком любил его, хотя тебе следовало бы любить прежде всего меня, Дока, сердечного твоего врача-палача, который по-прежнему обожает тебя, мерзавца...

Роман вырвался, шлагбаум со злостью хлопнул по фишке – у, сука, опять не поймал! – защелкнулась перекладина за спиной мотоциклиста, и как будто «ямаха» был живым, таким сверкающим спортивным кузнечиком, который выпрыгнул из банки или из банка, да на хер кредиты, и китайская девочка стояла уже с поднятой рукой, голая выбритая подмышка, выхваченная фарой, подбросить ее до метро, подбросить подмышку до метро?

Глава 4

Китаянка

Беатриче и в самом деле оказалась маленькая, уютная, и, как в чайной ложке, поместилась на заднем сидении «ямахи». И как это ее выпустили в ночь родители, отправили за молоком? – была мысль. «Мне до метро». – «Если не боишься, садись». Так и поехали. «Держись крепче, а лучше прижмись». Луна накрывала и соскальзывала, обливала, капала на дорогу и оставалась лежать лунными лужами, а мотоцикл с Романом и с китаянкой уносился в ночь, потому что он был не педофил (да не мотоцикл, а Роман!), хотя он и любил все неправильное, например, ехать по встречной полосе, разумеется, когда не было машин, любил разрываться от противоречий, выходить за грани, быть собой и одновременно не собой, как будто давно уже путешествовал в каком-то бардо тёдол, и все хотел и все никак не мог родиться заново, родиться по настоящему. Да и кто ж его знает, что это такое – по-настоящему?

- Почему ты такая маленькая?
- Я не маленькая, я скоро вырасту.
- У тебя бантики и платице.
- Меня послали за молоком.
- Зачем обманывать? Ты мыла пол.
- Откуда ты знаешь?

– Я догадался.

– Ага.

– Ты мыла четырехэтажный коттедж, а Док наблюдал.

– И ты такой же, как и твой друг.

– Нет, я тебя не трону пальцем.

– Правда?

– Вот увидишь.

Луна их накрывала. И накрыла, соскальзывая. И Роман отпустил руль, закрыл глаза и, обернувшись... девочку поцеловал. И руль был теперь ни при чем, руль был самодостаточен и сам поворачивал вслед за фарой, которая неслась впереди мотоцикла и вырывала из темноты белое шоссе, налево или направо, поворот, стрелка, знак, и передачи переключались сами по себе, без левой ноги, осторожно притормаживая на поворотах, чтобы не расплескать, пока длилось, да, чтобы не расплескать...

– Мы еще встретимся?

– Конечно.

– Это же не просто так?

– Конечно, нет.

– Ты... ты такой смешной.

Остановился мотоциклетный стрекозиный кузнечик, светящиеся газовые пачки вспорхнули, из-под снятого шлема заиграли белые бантики. И в темноте замелькали белые носочки, как на пуантах, приблизилось время звезды и метро, и она исчезла в стеклянной светящейся, о, Беатриче, кто по-

гружает тебя в извечное царство Гадеса? Роман был не педофил, нет, Роман не был гадом. И вот уже ожерелье святящихся, как он мчится один по ночной Москве, и Москва не кажется ему бессмысленной, несмотря на безупречное сияние витрин, на металлические манекены, толпящиеся в окнах первых и третьих этажей, как будто они, безусловно, вторые, вышли и смотрят, застыв, этажи, на странно, тихо и быстро скользящего Романа, счастливого Романа, как будто кто-то все еще рядом с ним, прижался к его спине, на узком заднем сидении «ямахи».

Вернувшись домой (осторожнее, не поскользнись! осколки зеркала звякнули и зловеще поползли, что надо бы было убрать), Роман почему-то решил выпить кефир, вероятно вспомнив, что друг его исчезнувший, дон Хренаро, тоже любил кефир. А потом лег головой на подушку, и были открыты глаза, в которых сама собой грезилась китаянка – как она шла по канату, натянутому между крышами, в стороны руки, и, балансируя. Розовенькие газовые пачки, белые бантики, и – может быть...

- Мы должны спуститься.
- Мы должны упасть?
- Нет, не упасть, а именно спуститься.
- Осторожно, по лестнице, чтобы не разбудить.
- Какая разница, кто кому снится, дон Мудон.
- Она же маленькая.
- Растут во сне.

– Совсем еще малышка.

– Не надевать ботинки.

– А это кто?

– Люцифер.

– Ух, как светится, как стеклянный.

– Не-не, не манекен.

– Фосфоресцирующий.

– Вот именно.

– Настоящий, с вниз головой.

– Ага, а не как с фабрики.

– Помнишь Рембо? Не король зла, а король, стоящий на своем животе.

– Цзинь!

– Осторожнее, не поскользнись.

Глава 5

Кефир и живопись

Тугим свинцом уже позвякивало серое утро, и тело из-под одеяла не хотело выползать. Роман проснулся или полупроснулся на этажах, и зазвенело опять, как разбитое зеркало. Роман подумал про то, что жена ушла, про то, что мать...

– Алло, это кто?

– Это ваш врач.

– А, это опять ты, Док, привет. Что так рано?

– Уже двенадцать, а ты все еще спишь.

– Ты же знаешь, я стараюсь не просыпаться.

– А у меня для тебя сюрприз, дружок.

– Какой еще, на хер, сюрприз? Мне хватило вчера Дебюсси.

– Ты меня неправильно понял. После нашего вчерашнего разговора я подумал, что дон Хренаро, может быть, и не... ну, ты понимаешь...

– Ах вот ты о чем.

– Ну, я тоже его любил. Нас же было три друга.

– Кто же были те, кто пришли вчера?

– Ну... они тоже друзья, но... сам понимаешь, не близкие.

– Чего ты хочешь?

– Я предлагаю найти.

– Кого?

– Дона Хренаро.

Роман помолчал. Реальность требует иногда молчания и в прерывании коммуникации появляется смысл.

– Лететь в Шанхай?

– Я оплачу. Ты же знаешь, у меня студия. Мы полетим вдвоем и будем искать.

– В Восточно-Китайском море?

– Если потребуется вертолет. Я оплачу вертолет.

– А если потребуется...

– Я оплачу корабль.

– Пьяный корабль, – ухмыльнулся Роман.

И Док тоже ухмыльнулся *там*, через эфир.

– Ну, так ты согласен?

Проснуться, проснуться, это был, конечно, уже не сон, уже Роман был словно бы сжат какой-то диаграммой, реальное предлагало ему себя, но зачем? Очередной теплоход ВТ с подвигом бутерброда? Но возвращаешься же к себе и только к себе, хотя это и есть – это «к себе» – всего лишь иллюзия. Он посмотрел на стулья с низкими спинками-ушами, на голубые обои стены, на неизбежное, надвигающееся... Как это сказал Ван Гог – я пишу не банальную стену убогой комнатухи, а бесконечность. Создаю простой, бесконечно интенсивный и богатый фон...

– Почему ты уверен, что я соглашусь?

– Конечно, – засмеялся через эфир Док.

И Роман увидел его лицо, как на киноэкране – просто аме-

риканская восьмерка.

«Ну, да, все мы строим свою башню. У него сайты, фейсбук и собака, которую он спас. А я просто собачье говно».

– А я... а если я не соглашусь?

– Я всегда могу дать тебе заработать, если ты комплексуешь насчет баксов и так далее. Но... к чему нам лицемерить?

Размыкая тумблер коммуникаций, Роман помолчал опять. Реальность проваливалась... Крик панды, сломанная ветка, визг, и вот уже навалился зверь и бьется, блещет белым крыло, как волна, молчаливое свинцовое море. И ветер, только ветер. Как это у Рембо – я хотел бы сотворить себе деформированную душу?

– Хорошо, – сказал Роман. – Лицемерить не будем. И прокатимся за твой счет. Но запомни, если мы найдем дона Хренаро...

– Да, да, – заволновался через эфир Док, упругий эфир стал сжиматься и разжиматься, пустой, где ничего не было, ничего, что бы могло сжаться или разжаться, сжимающееся и разжимающееся бредящее бардо, великое и бессмысленное в своем ничтожестве, Док, конечно же, заволновался, Док. – Так на какое мы запланируем? На середину ноября?

Роман посмотрел в окно – очертание рамы, название месяца, дата и время. Разбить и выскочить, пока не поздно? Чего они все от меня хотят? Чего хочет Док? Я не хочу ничего вспоминать. Чего хочет Док? А чего хочет Дог, в смысле собака... За окном залаяло. Чего хочет Бог? Вылезти на лед.

И дышать, да, дышать, стряхивая мокрую холодную тяжелую снежную кашу, часто дышать, дрожа и подергивая длинным розовым языком, свисающим между зубами.

«Он загоняет меня в тупик».

Молчание щелкнуло фоном ореха, да, как орех, туда, где уже пролетала чья-то голова, и кто шел через пустыню сорок дней с караваном оружия, и с глазами шалеющей лошади, как кокаин...

– Ну, хорошо, давай на середину ноября.

– Машка передает тебе привет. Не отчаивайся. Второй брак всегда удачнее. Пока. Мне тут кто-то названивает по параллельным...

На дворе был март, а может быть, и сентябрь, в глубине января уже проклеывался апрель и медленные птицы разбрызгивали по небу голубую паузу, как водовозы. Надо было начинать жить до мая, до ноября, надо было прожить день, надо было снова обманывать себя, чтобы родиться. Но какая же это странная штука...

Кефир оставался в холодильнике, кефир ждал.

Медленное и холодное, наконец, стало вливаться в горло. Толчки густые и, обволакивая, было другое, прохладное, могущественное, мягкое, кефир возникал горлом, могущественный, как дворец, кефир строился в гортани, легко разъезжался, обваливался, оползал. «Кажется, это называется пищевод». Толчками набивался в трахею или в трахеи – множественное число – а чем не удушье? Задохнулся кефи-

ром, нашли на собственной кухне, не кончать, не кончать, как эрекция у задушенных...

И вдруг вспомнить про Беатриче. *Но она же его сестра...* Ребис андрогина, из которого камня вода, да? Доски лесов, фанерный щит, бельмо на глазу, не ври, Роман, ты был женат на ней всегда, ты был в браке с ней изначально, кубы брака изначально, кубометры полые изначально, пикассы пустые изначально, и ничего, кроме любви... А чего они хотели? Остановить движение? Вранье! Живопись в истории была занята разложением и собиранием эффектов, так говорил твой кумир Делез. Кефир упруго раздвинул – о, как приятно прохладное – и прокатился в живот. Пора было заниматься делами, перекладывать с места на место, одевать трусы, рубашку и майку, нет, рубашку наоборот, после майки, застегивать пуговицы, зашнуровывать шнурки, закрывать ключом, спускаться на лифте, пикать сигнализацией в час пик, а какая разница, где стоять, а какая разница, на чём ехать, а куда, а где? Роман переключал на первую, а потом на вторую, а потом опять на первую. Офис, контора или гитара? Где взять, куда положить, что сказать? Можно доставить в аэропорт, а можно и-не-курьером в студию. Яблоки почему? Вы говорите – вечерние новости? Да на хуй новости! Да я сам себе новости! И мне нужны от вас только баксы, я давно уже не живу, я не понимаю, почему я не умираю, я император Онтыяон! Да-да, в том самом смысле – *Он, ты, я, он.* Эй, тут есть кто-нибудь в этой комнате, кто меня слышит?

А, ну да, ну да, и это вы называете информацией? Да на хуй информацию! Да я сам себе информация! С первой на вторую, со второй на третью, на четвертую и пошел, обойти синего, да, вот этого форда, а ты куда лезешь? это у тебя правый бок; женщина на джипе – конечно истеричка, у нее голубые трусы, надо было лучше заправлять тампон, женщина, вы все измажете красным, девяносто пятый, этилированный, а не девяносто второй! что вы говорите? демонстрация? а, ну да, бурление воды, газ, синие и желтые макароны, дуршлаг, объезд по навигатору, до свиданья, яндекс-новости смотрели? лоб в лоб – тоже хорошая мысль, а если останешься в живых, будут резать жопу в Склифософского и вынимать. Алло, Тимирязевская?

... и, наконец, уже вечер, тихий вечер, где на подоконнике располагается гортензия. Еще съезжают обломки дня. Стали затихать. Шуршали и расползались, недовольные, все еще по своим диковинным кустам, зевали, чистили зубы, пили валерьянку. Лег и Роман, одинокий, он прислонился к стене, он лег на стену, как каждый неудачник и прижался лопатками, лежал на спине, как на стене, и ждал. Стали смыкаться веки, и уже косили, косила, косило... Роман ждал, выбираясь из мучительно жавшего, из мучительно узкого, глупого, тупого, бессмысленного и вездесущего, вывертывающего наизнанку в какую-то плоскую жижицу, что нельзя преодолеть, в какую-то тонкую пленочку, в которой, нет, нет, да, да, ну же, поскорее, разваливайтесь на части, сейчас, подожди, я

уже, спать, нет, пока еще узкое, тугой проход, запутавшаяся
за горло пуповина и...

Наконец-то!

Глава 6

Вечное возвращение

Ширь вздернулась до небес, шарами опрокинута она к горизонтам. Даль открывается алым и эфемерно и мерно рас-слаиваются глубины лун. Как снежные зайчики, плодятся солнца, и волки – бегут. Мученическая тайга уже венчается снежным зноем, и воздух нежен и чист. Козодойные птицы устремляются по осям пространства. И внизу узилище гавани.

Море, которого нет, только оно может быть последней надеждой. Как «Наутилус» – последним из кораблей. Капитан Немо курит бамбуковую трубку и ждет, скрипят его сталагмитовые сапоги. И как обвалы небес, безмолвны приказы. А ослепительные лавины – как единственный аспирин...

Запомни же, Эльдорадо – есть.

Эль-до-ра-до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до – есть...

На берегу еще ютятся домишки новобрачных, белые ма-занки, ослепленные черным, как южным. Сожженные улицы простирают пустынные руки свои. Но те, кто спят синими венами-переулками, никогда не проснутся. Только шуршащий прибой – белый сторож – облизывает ногу собаки. Паганини – он обречен на бессонницу.

– Это тысячелетний город, Хренаро?

– Это Рим Ромула времени твоего, Мудон.

Прочь же гондон, прочь старший брат смысла, ухват, кан-
тианская резинка, кочерга, рычаг, как пассатижи, как стри-
жи полета бреющего, как брадобреи, как мессершмиты, мес-
сиры, мессиджи, жалить ужей гадюками своими, крапивой
по яйцам стричь страусов своих, скорее, скорее, о, «Наути-
лус», глазами красными и глазами зелеными, выползать со
Светозарным, залечивать губную болячку, Бычью им дать,
а не гармошкой губной, да, гильотинкой пусть порежутся, а
встать над яйцами, как над страусиными, как по над парус-
ными регатами побежать, как дух восстания и отец гордыни,
ибо крошится и ломается-то уже давно, ибо «нет» уже давно,
а «да» еще не настало, ибо тверда кость и расправлены уши,
но не расплавлен еще язык слов.

Глава 7

«Brain Salad Surgery¹»

Второй, как первый, херовый день, а дальше будет только хуже. О, если бы оборвался лифт, упал на голову кирпич, жизнь как предсмертный сон – троллейбусы, начальники, колбаса, попса, постройка какой-то бессмысленной башни, я состоялся, лунный свет... Но вот вскоре стал подкрадываться и ноябрь, выглядывал, как из-за забора, подмигивал, как в такси. Чтобы дожидаться, что это не так, Роман вечерами сидел в барах, много пил и много курил. Так же, как когда-то и дон Хренаро, ибо если это приближение к дону Хренаро, последовательные, невидимые шаги, – ведь Док не спит, конечно же, не спит, он залез в интернет и шелестит фейсбучными билетами, – то значит надо много пить и много курить, так же, как и дон Хренаро. Просто сидеть на черном стуле в черном кафе с ослепительно белой неоновой лампой и приближаться и приближаться к дону Хренаро... Вспоминать тебя, о друг мой любимейший, верить в то, что ты жив. Как Рембо в Адене, ты живешь где-то там, со своей маленькой китайкой неизвестной трудной и простой жизнью, караван с оружием, караван с кофе... Прости, что

¹ «Мозг Салат Хирургия» – название диска группы «Эмерсон, Лейк энд Палмер» (*прим. автора*).

я снова хочу вернуться к тебе. Ты сам предпочел бы не возвращаться.

Накачиваясь алкоголем, Роман вновь обретал свое «я», и прошлое возвращалось ослепительно неоновой лампой.

Ты ходишь босиком, а я в ботинках, ты ешь сырых слизней с кустов дрока, а я варю вермишелевый суп, но мы оба поднимаемся на одну вершину, и кратер все ближе. Разрозненные, фрагментарные, разбитые на куски мы сможем снова переплавиться в единое неизвестное целое на дне вулкана... Помнишь, как мы дрались на Арбате? Буряты пытались прорваться на второй этаж, а мы били с верхних ступенек. Ногами с верхних бить хорошо – и быстро, и скидывать высоко не надо. Легко попадаешь в лицо, и буряты приятно отрываются от поручней и – в своих черных лакированных ботинках – вращаются по ступенькам вниз. На втором этаже у тебя был старый черный рояль, и ты захерачивал «Brain Salad Surgery», перевернутую музыку, как в этом баре с черной неоновой лампой напротив, где все сдвинуто, где все набирается из начал, как на ткацком станке, короткими и длинными иглами, и вырастает блестящая и сверкающая пирамида, как она растет и рассыпается, как тысяча солнц, а может, я что-то путаю, Хренаро, и это был не «Brain Salad Surgery»? В нигде, в черном кафе, на черном стуле я вспоминаю те времена с золотой болью. Ты называл меня «дон Мудон», а я называл тебя «дон Хренаро». Просыпайся, я вызываю тебя

из эфиров, алло, это солнце? Из камня, стали и стекла снова выстраивается пирамида, где учат считать, читать и писать.

Мы познакомились с тобой в Университете, а если точнее – в спортзале, а с твоей сестрой я познакомился уже потом. Ты крутил «солнце», твои руки были привязаны к оси, о, икарид, ты не должен был оторваться, этот гимнастический спартанский снаряд назывался перекладина. Надо иметь трезвую голову, чтобы все это описать – как намазываются на запястья эластичные бинты, как погружаются в магнезию ладони, пыль, белый порошок, скользящий по коже, это коровки с соседнего, филологического – эти Машки, Глашки и тэ пэ – жадно жуют слова, ибо им нужны наши пенисы, а не фаллосы, они же хотят спасти мир и их декана зовут Господин Матриарх, он знаток железнодорожных правил романа, и его лекции спасают новобрачных, которые женятся не по расчету, да, Док? А мы с доном Хренаро убиваемся из-за любви. Послушай, Хренаро, твой друг Роман, названный тобою же доном Мудоном, хочет тебя наконец найти, ты слышишь? И сейчас в этом черном, черном кафе с этой яркой, яркой лампой, он уже ищет тебя, как ты легко подходишь к перекладине и как легко подпрыгиваешь, и вот уже – кач, кач – пошел ногами вверх по дуге, оранжевые чешки на босу ногу, горизонталь слева, горизонталь справа, и ты смотришь только на ось, только на солнечную ось, как она сияет и светится, и как ты вращаешься – возвращаешься вокруг солнца; ты смотришь на перекладину, чтобы не закружилась

голова, а я бью в свой золотой бидон, распугивая коровок, провозглашая, что смерть хомо сапиенса не так уж и важна, потому что хомо сапиенс дерьмо, а не венец вселенной (как, между прочим, утверждал Матриарх), а я говорю вам – хомо сапиенс хуже дерева и камня, ничемнее бездомного пса и гаже дождевого червя, вот почему надо чаще думать о мести оленя, о кале орла, об убийстве, самоубийстве и нерождении, ибо зачем же хомо сапиенс понаделал из волков собак, чтобы преданно в глаза его смотрели, чтобы ладони его лизали и ели с ладоней его, и чтобы были благодарны и терпели и ссали только на улицах, да? и если, блять, захотят утопиться или повеситься, то нельзя? так вот хуй тебе, хомо сапиенс, и пусть же собаки ссут в твоём доме, в твоём коттедже, где хотят, и срут, где хотят – в коридорах твоих и кабинетах, в гостиных и на кухнях, на мониторах и на системных блоках, и на мобильных, потому что ты во всем виноват, хомо сапиенс, ты хотел семейного счастья, так получай по полной, давайте, собаки, добавьте семейного счастья хомо сапиенсу, пусть искрится радужная струя, ты хотел справедливости и чести? давайте, собаки, добавьте хомо сапиенсу справедливости и чести; а, ну да, хомо сапиенс хотел добра; получай же, навалом и добра, свежего и дымящегося – целую башню; прости Док, я не знаю, за что я тебя так ненавижу, наверное, потому, что ты это тоже я... Спрыгнуть с перекладины, какой классный спортзал напротив памятника Ломоносову, который любил ломать носы, вот идет, к примеру, какой-ни-

будь Господин Матриарх...

– А Ломоносов бац ему по носу!

– Хм, дон Мудон, неплохо, неплохо. Я рад, что я с тобой познакомился.

– И я тоже рад, дон Хренаро.

– А как тебя, кстати, зовут?

– Меня зовут дон Мудон. А тебя?

– А меня зовут дон Хренаро.

– Дон Хренаро, я рад, что я с тобой познакомился.

– Дон Мудон, и я тоже очень, очень рад!

Доставить в горизонтальное и в горизонтальное положить, вдвинуть в бесконечно богатый фон, как Ван Гога, ведь речь об изоляции на синем, не писать видимое, а писать невидимое, как говорил Пауль Клее, мы просто разбились на мотоцикле, и у Дона Хренаро оторвалась голова, и она отлетела на Венеру, никто никого не убивал, тело было выброшено ударом вылетевшего из-за поворота КРАЗа на Северный полюс, где ось, да, где ось, или наоборот, я не помню, ах, ну да, Беатриче...

Роман проснулся, принял холодный душ. В виске за окном трезво стучала гидравлическая помпа. Забивали сваи новой жизни. Асфальтировали клумбу, и, как на кладбище, сажали асфальтовые цветы.

– Ты готов, Роман?

– Кто говорит?

– Док.

– Перезвони, я принимаю душ.

– Ты вылетаешь послезавтра.

– А ты разве не послезавтра?

– Роман, прости, но... но все так складывается, что я не смогу к тебе присоединиться, и тебе придется лететь одному.

– Я тебя не понимаю. Что случилось?

Пауза длилась и разрасталась. Док молчал. Как между белыми и черными клавишами разворачивался стяг «Brain Salad Surgery». Роман мучительно ждал. Но Док все молчал.

– Беатриче? – не выдержал, наконец, Роман.

Лучше не спрашивать, в конце концов, ты же не такое дерьмо, чтобы спрашивать, ты знал эту историю с самого начала, вот в чем весь смысл, но, попробуй, разберись, как все начинается, и кто и в чем виноват, и где причины опережающих их следствий.

– Тебе придется лететь одному, – глухо повторил Док. – Деньги на путешествие я дам, как обещал. И я уже забронировал тебе гостиницу. Но запомни, ты должен найти дону Хренаро.

– Док, ты и вправду веришь, что мы не разбились на мотоцикле?

– Я... не знаю.

– Зато ты знаешь, что такое теплоход ВТ, – горько усмехнулся Роман.

– Перестань.

– А какая разница?

– Роман, ты же знаешь...

– Прости, Док... Я просто собачье дерьмо.

– Не говори так.

– Вот почему я должен лететь один.

– Просто все так складывается.

– Док, только честно. Скажи честно, ты ее... любишь?

Тень крыла уже покрывала пространство, бескрайние леса и поля, и узкие, как вены на запястье, реки, они блестели – реки, и прорезали. Когда смотришь через стекло вниз, реки блестят.

Глава 8

Прозрачная земля

Ночь из-под крыла, зеркальная летящая комната Витгенштейна, с открытыми глазами внизу под крылом река, «я» погасло, сложило стрекозиные крылья «ты», высоко над землей летит «он», поверх снов, поверх слов, летит император Онтаяон – дон Мудон, дон Хренаро и Док в одном флаконе – и смотрит в иллюминатор, и в глазах его проплывают звезды, и зеленые тянутся водоросли, и пустыни струят свои пески в течении времени, и рыбы с птицами говорят на забытом давно языке... Когда-то, когда начиналось все, что начиналось, жизнь в прошлом как жизнь в настоящем лишь для тех, кто так и не научился жить в бардо, скажи мне, Роман, что такое удобное кресло, обивка фюзеляжа, кефир с витамином цэ, но я говорю не о времени, ты вспоминаешь, чтобы вспомнил он, чтобы забыть имена и различия, части речи или фрагменты, осколки зеркала, друзья, как ты сам, когда-то отец или язык, но откуда эта жажда смыслов – называть, чтобы достичь сходства? да, ты хотел быть, как другие, и совсем не важно, что все так быстро кончается, потому что все остается во всем, как разбитое лицо в разбитом зеркале, да, да, спасибо, дорогая стюардесса, да, да, еще, пожалуйста, кефир с витамином цэ...

Вагон качало. Длинная светящаяся гирлянда поезда проходила туннель. Если бы земля была прозрачна, то можно было бы видеть светящиеся метрополитенные нити. Но Роман был не снаружи, а внутри. Так странно смотреть через вагоны – они яркие, блестящие и полупустые, – смотреть и видеть, как изгибается тело поезда. Светящиеся бессмысленные бусины, и ты в одной из них.

Он перешел в следующий и пошел вдоль длинной никелированной штанги, скользя по ней полусжатыми пальцами.

Китайка сидела в самом конце. Она была в коротенькой розовой пачке, узкие глянцевого ляжки блестели на матовой коже сиденья. «Не больше девяти». Он встал у двери. Девочка посмотрела на него с опаской. Он сглотнул, но сделал вид, что ему все равно. У него не было женщины уже четыре месяца. Девочка достала из сумочки ватку, послушавила ее и стала вытирать нечистый оранжевый ободок босоножки, потом – перламутровые ноготки пальцев ног. Там, где начиналась стопа, кожа светлела, так же как и на руке, ближе к ладони.

«И никаких белых носочков».

Жена (такое странное теперь для него слово) ещё не ушла. Она стояла перед зеркалом и рисовала свое лицо, проводя помадой по губам. Жена была нарядна и слегка возбуждена. Он догадался, что она снова едет к этому, как она выразилась «к доктору».

Он поздоровался, прошел в свою комнату и включил на-

стольную лампу. Если бы он закрыл за собой дверь, она бы догадалась, что – страдание, а он не хотел; он хотел, чтобы она подумала, что – равнодушие, просто забыл закрыть.

Он все ещё любил её? Или, может быть, привык... Но после того, как они подали на развод, они все же неплохо друг к другу относились.

– На кухне горячее молоко, – сказала она. – Если хочешь, можешь с гречневой кашей.

У неё было хорошее настроение, и она позволила себе доброту.

Ему было горько слышать то, что она сказала, но он промолчал.

Она вошла в его комнату, и он, как ни в чем не бывало (как ни в чем не бывало! – гримаса боли, затравленная волей лица...), повернулся. Срок, назначенный судом, истекал через две недели.

– Роман, – прозрачно, по-новогоднему улыбнулась она.

«Какая красивая незнакомая женщина», – почему-то подумал он.

– Роман, мы же останемся с тобой друзьями?

Она сказала это искренне, он знал. Её простота часто приводила его в изумление, он словно физически ощущал ту нормальную грань безумия, без которой, наверное, невозможна жизнь. Он помнил, как она играла с котенком – взрослая женщина, привязавшая веревочку к бумажке, это было после той хамской ссоры в троллейбусе, где она ударила лок-

тем в лицо старика, который будто бы её толкнул. Веревоочка, котёнок и бумажка. Невинная детская улыбка. Она вытирала слезы, глядя на кота. «Что случилось?» – спросил он. «Могу я хоть немного пожить...»

– Конечно, останемся, – улыбнулся и он.

Странная легкость, которую он в себе ощущал поверх бездны. Волшебная легкость безумия. Может быть, все это происходит и не с ним? И он и в самом деле обожает ее любовника, этого «доктора», и стремится стать другом этого красивого мужчины, умело, с манерами, рассказывающего в компании смешные истории: как он тушил трамвай, трамвай загорелся на остановке и «доктор» с другом вырвали деревце и били им по буксам, потом выпили пива и пошли драться с полковниками... Блеск красивого брюнета с белым воротничком. Обожающие влажные взгляды женщин. Может быть, это и есть любовь...

– И будем приходить друг к другу в гости! – засмеялась она. – Да, Роман?

– Конечно.

– Ты ведь уже не сердишься на меня?

Её улыбка и в самом деле была невинна – легкая улыбка, как для подруги.

– Что с тобой сделаешь... То был лесник, потом шофер...

Он сказал это совсем не с целью её обидеть. Просто такая волна легкости, праздничного застолья, когда слова сами...

– А был ещё и Сян Чжу, – рассмеялась она в тон.

Сян Чжу. Он вспомнил того невысокого статного китайца, знатока советских киноартистов и певцов, этих мерзких лживых советских киноартистов и певцов. Значит, тогда, когда однажды он пришел с работы чуть раньше и с удивлением застал Чжу у себя сидящим на диване, значит, тогда он не ошибся... Та китайка в метро, её лоснящиеся ляжки и грязная белая ватка, чистый перламутр на пальчиках ног, и его желание.

– Послушай, – сказал он этой незнакомой, красивой, чужой женщине, пока ещё его жене. – Ты и вправду хочешь, чтобы мы остались друзьями?

Он постарался сохранить легкость в тоне и улыбку на лице, но бездна была рядом.

– Да, – растянулись её губы и сладкий рот.

Она ещё ни о чем не догадывалась, и её удивление было неподдельным. Её радости по пустякам, самозабвение, с каким она облизывала мороженое или пила газированную воду. И жестокость, с какой она дергала изгаженный целлофан из-под тела своей матери, когда та умирала от рака. Он вспомнил язву и белый гной вместо груди, ясные светящиеся глаза её матери, голое, иссохшее, испачканное какашками тело и рыдания этой красавицы в желтых резиновых перчатках: «Когда?! Когда же ты, наконец, умрешь?!» Все это и ещё её пизда, красивая пизда, которую он так любил рассматривать, словно бы это было произведение искусства... Ты закуливаешь сигарету, ты спрашиваешь: зачем? эмаль сигарет-

ного дыма, разметанная постель, сползшее на пол одеяло и благодарность её молчания...

А что он еще мог сказать её матери? Он глотал слезы и говорил ей, что Бог есть, и написал карандашом на листке из школьной тетрадки слова «Отче наш», чтобы ее мать повторяла. Он приносил ее матери сок и тонкие кусочки рыбы, которыми умирающая только иногда давилась, и что было единственной пищей, которую она все же проглатывала.

Ее мать (его теща) говорила, что он хороший, добрый и что, когда она умрет, чтобы он обязательно бросил ее дочь, потому что ее дочь сука и гадина. А он... он любил. Нет, не только пизда, но и все это, чудовищное и трогательное, отвратительное и прекрасное, что создал Бог и что бросил ему, как кость собаке.

Жена.

Он взял её за руку.

– Давай... в последний раз... чтобы потом друзьями... И я ничего не имел против Олега... Как бы квиты...

Она посмотрела на него с удивлением, хлопая ресницами. «Как бабочка», – подумал он.

– Но я не успею тогда на метро. А доктор ждет.

– Я дам тебе денег на такси.

– Честно?

– Да, честно.

Он видел, что она колеблется. «Вот, только покрасилась...» – прочел он в её глазах. Она посмотрела на диван,

который остался после ее матери, и зевнула.

– Последний, – сказал он, мучительно представляя ее пизду, как он будет ее лизать и как потом, приподнявшись, насев, будет долго-долго работать той напрягшейся частью своего тела, которую зачем-то дал Бог, работать и иногда оставливаться, с точным расчетом, почти у самой черты, чтобы не ошибиться, чтобы не кончился этот последний раз, до изнеможения, насколько хватит сил этой напрягшейся мышце, не давая Беатриче выскользнуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.